

Элла Матонина  
Эдуард Говорущко



Чехов  
и  
Музыка  
Мизинова



Словные истории великих



Элла Матонина

**Чехов и Лика Мизинова**

«Алисторус»

2007

УДК 82-94  
ББК 84

**Матонина Э.**

Чехов и Лика Мизинова / Э. Матонина — «Алисторус», 2007

ISBN 978-5-9265-0441-2

Это история о женщине, мимо которой не мог пройти ни один мужчина, не остановившись или оглянувшись, а узнав ее – не влюбиться. Она была красавица, умница и прекрасно пела. Ликой Мизиновой были увлечены Шаляпин, Левитан, Мамонтов, модный когда-то писатель Потапенко. Она же ждала решительного слова лишь от одного человека – Антона Чехова, который десять лет говорил ей о своем чувстве. Но муза великого писателя стала женой талантливого режиссера Александра Санина – постановщика русских опер на лучших сценах мира, сподвижника Станиславского. Им суждена была долгая счастливая жизнь.

УДК 82-94

ББК 84

ISBN 978-5-9265-0441-2

© Матонина Э., 2007

© Алисторус, 2007

## Содержание

Дама укатила в Париж	5
Незнакомец	6
Альбом	12
Конец ознакомительного фрагмента.	19

# Элла Матонина, Эдуард Говорушко Чехов и Лика Мизинова

## Дама укатила в Париж

Прозрачным августовским днем, в последнее воскресенье перед Успением, покончил с собой мелкопоместный дворянин Арсений Петрович Б., выстрелив себе в грудь из револьвера.

Коленька, мальчик десяти лет, каких-нибудь полчаса поглазев за тем, как девки под наблюдением повара колдовали над вареньем из боровинки и груш, побежал к конюшне посмотреть на отцовского «киргиза» Ворона, которого очень любил. Конь, игриво заржав, наклонил голову и стал нежно покусывать мальчишку за плечо. Арсений Петрович был дома, и Коленька пошел его искать. Первым делом заглянул в кабинет. Отец сидел в кресле у письменного стола, уткнувшись рыжей головой в кованный чернильный прибор.

– Ты что, спишь, папа? – спросил мальчик вполголоса.

Не услышав ответа, Коленька подбежал к отцу, взял его за голову и осторожно откинул ее, пытаясь заглянуть в глаза. Глаза были закрыты. И тут он увидел небольшое пятно крови у него на груди, а в правой руке, лежащей на коленях, – револьвер. Коленька, забившись в ознобе, вынул оружие из отцовской руки, совсем не державшей его, и поискал глазами, куда бы его деть. Ему вдруг показалось: если этот мерзкий револьвер убрать подальше, отец откроет глаза и, как часто это бывало, предложит ему покататься на Вороне. Надежного места в кабинете не нашлось. Кроме письменного стола, кресла да полки с книгами, здесь ничего не было. Тогда Коленька, шатаясь от непонятого шума в голове и дрожи во всем теле, вышел из кабинета и направился к колодцу возле людской. В глубине его раздался всплеск, а Коленька упал в глубоком обмороке... Его нашла одна из девок, вышедшая из людской по воду. Стала кричать, и подбежавший садовник вылил на мальчишку полведра колодезной воды. Три дня он пролежал в жару, а когда пришел в себя, то еще больше месяца никого не узнавал.

Поначалу исправник со следователем решили, что Арсения Петровича убили. Правда, возле него нашли записку, но нацарапана она была неверной рукой, так что почерка было не опознать. «Наташенька, я виноват перед тобой. Деньги ты знаешь где, а то я бы их все равно проиграл. Береги детей». Кроме того, Арсению Петровичу и стреляться-то было ни к чему: говорили, будто в Москве он выиграл в карты едва ли не 100 тысяч рублей. И записка подтверждала эти слухи.

Пока шло следствие, Арсения Петровича похоронили по православному чину, с отпеванием в церкви и службой на родовом кладбище. А потом следователь закрыл дело об убийстве, потому что ему принесли последнее письмо Арсения Петровича к одной местной даме, укатившей в Париж еще за неделю до этого происшествия.

Следователь, прочитав письмо, решил закрыть дело об убийстве, потому что стало ясно – Арсений Петрович застрелился из-за несчастной любви, хотя его возлюбленная в своем Париже об этом еще и не подозревала. Оставалось предъявить почерк Наталье Константиновне. Та с первого взгляда признала руку покойного мужа.

Наталья Константиновна продала усадьбу и переехала с детьми в Москву, надо было лечить Коленьку – у него стали появляться нервные припадки. Говорили, что там она удачно вышла замуж во второй раз.

История эта совсем бы забылась, ничего необычного в ней по сути не было. Помещики то и дело разорялись и не единожды с горя стрелялись. Но почти через сорок лет аукнулось это происшествие, да не где-нибудь, а в Париже, куда революция выгнала немало русских...

## Незнакомец

На улице – легкая метелица, совсем необычная для Парижа. Все, кто звонил в дверь, а затем появлялся в прихожей, несмотря на возраст были молодо оживленны, смеялись, отряхивая шляпы, шарфы, и говорили изумленно и весело одно-единственное слово: «la neige (снег)». Гостиная была ярко освещена, но углы ее тонули в полумраке, там лежала легкая тень. Гостей встречала женщина, о которой принято говорить – роскошная. Красивое лицо с серыми глазами, копна светлых волос. Но взгляды гостей сразу же обращались к шумному кругу в правом углу гостиной. В центре круга то сидел, то вставал, то жестикулировал крепкий коренастый хозяин дома. В его облике было что-то квадратное. Толстяк в оригинальной курточке с бантом, с лицом, на котором прыгали и двигались густые, не похожие друг на друга брови: одна стрелой, другая – изогнутая. Они жили на лице, меняя его выражение. Ступал хозяин грузно и косолапо. Иногда он останавливался на полуслове и пытался разглядеть среди гостей, заполнивших гостиную, женщину с серыми глазами. Она же, чувствуя его взгляд, отвлекалась от гостей и отвечала ему легкой поощряющей улыбкой.

– Как хорошо, что вы покинули Аргентину, Александр Акимович, – шумели вокруг. – Чтобы пересечь океан, это ж сколько нужно сил!

– Когда переваливали океан – ну и орясина! Переход был тяжелым, июль, жара... Качка меня доконала, не вылезал из каюты, есть не мог... Да еще и волновался: нужно ли там русское искусство, нужен ли я? Но у аргентинцев, как и у испанцев, какое-то особое чутье к русскому языку. Какое-то чудо, ни черта ведь не знают о нашем духе, традициях, быте, верованиях – и вдруг старая Испания с ее Дон Кихотом мечтательному славянству подает руку!

– Писали, что от муниципалитета Барселоны вам была выражена благодарность!

– Была, была, – подтвердил Санин, снова отыскивая взглядом женщину с копной пепельных волос. – Это за благотворительный спектакль.

– Это замечательно, что вы показали русскую жизнь! Даже в тех странах, в которых раньше никакого представления о ней не имели.

– А Париж, пожалуй, избалован нами, – отвечал Санин. – Какие были Дягилевские «Русские сезоны»! Вот «Садко», например: я поставил не оперу, а оперу-балет. Певцы за кулисами, а сцена отдана балету. Но дело, в общем-то, не в воспоминаниях, а в Брониславе Нижинской. Гениальный балетмейстер, скажу я вам, вполне достойна своего великого брата. А самое главное, у нее просто невероятная тяга к русской теме – ее «Царевна-Лебедь», «Снегурочка», «Картинки с выставки», «Древняя Русь», не говоря уж об оригинальной версии «Петрушки», – действительно прославили русское искусство за границей. На родине, надеюсь, когда-нибудь оценят ее как хореографа и балерину. Конечно же, уговорив госпожу Нижинскую поработать вместе, я, сами понимаете, обязан был наступить на горло собственной песне. И нисколько не жалею об этом – ее хореографию в «Садко» вполне можно поставить в один ряд с ее оригинальными балетными постановками. Сегодня Бронислава Фоминична собиралась тоже прийти, но в последний момент у нее появилась возможность увидеть больного брата и она не захотела ее терять.

– И всё же правильно говорят, Александр Акимович, вы не режиссер, вы дьявол! Да, да, все французы говорят так. Чертовский темперамент, у Рейнгарда такого нет – бешеный темперамент! Да еще методичность и дисциплина, как у немца. И это у русского человека! Французы, итальянцы поют в один голос: нам бы такого. Александр Бенуа прав – божьей милостью вы награждены.

Квадратный человек с проседью на квадратной голове, мягкими губами, лучиками у глаз остановил всех, словно хор в опере:

– Мы пойдем сейчас за стол, но, чтобы не испортить вам гастрономическое верхнее «ля», я здесь, в гостиной, произнесу спич. Вот такой: «Ставлю и ставил, друзья мои, оперы, и все новые и новые размышления одолевают меня. Что-то мне кажется, что постоянные искания от постоянной неудовлетворенности собой – это чисто русское явление. Нельзя народу стоять, вязнуть, топтаться на месте. Для души народной нужны выходы, новые касания, нужны ширь и смелость исканий, общность со всем человечеством. Но вместе с тем истинная русская душа была и остается навеки сама с собой. Верной себе, своей правде, своей истории, своим укладу, быту, семье, религии, своей культуре. Живу я на чужбине, тоскую, работаю, творю, безгранично жалею и люблю Родину нашу, горжусь ею. Вот так, друзья. Пойдемте выпьем за наши успехи для России».

Все двинулись в распахнутые двери в столовую, где стоял накрытый стол с одноцветьем блюд. Это была особенность дома Саниных: подавать блюда под знаком того или иного цвета. Препровождая гостей, Санин отыскал глазами сероглазую женщину, волнуясь, что на секунду упустил ее из поля зрения. И вдруг длинный, вызывающе громкий звон колокольчика послышался из прихожей.

– Полин, посмотрите, пожалуйста, кто там так запоздал? – попросил хозяин горничную.

Девушка вышла и долго не появлялась. Сероглазая женщина в необъяснимой тревоге направилась в прихожую. Но там никого не было. Полин стояла у зеркала и воровато и смешно примеряла чужую шляпку.

– Кто это был?

– Не знаю, мадам. Спросили какую-то Лику Мизинову, если я верно произношу. Я сказала, что такой не знаю.

Санин, оставивший рассаживающихся гостей, вполголоса произнес с порога:

– Но это ведь тебя, Лидуся. Кто-то из той жизни...

\* \* \*

Гости разошлись довольно рано – то ли неожиданная зима напугала, то ли непривычной оказалась какая-то грустная задумчивость, не свойственная на людях хозяйке дома. Санин, проводивший последнюю пару на улицу и вернувшийся с мороза в теплую прихожую, слышал, как жена в зале расспрашивала Полин о незнакомце: как тот выглядел, сколько лет. Горничная ответила, что особенно не присматривалась. Обе не слышали, как Санин вошел и разделся, стряхнув со шляпы сухой снег.

Их парижская квартира количеством и расположением комнат немного напоминала последнюю московскую, на четвертом этаже шестиэтажного дома, на углу Арбата и Старо-конюшенного переулка, построенного в 1909 году. Их дом номер 17 в Париже был лишь на четыре года старше. Открываешь массивную зеленую дверь с позолоченными ручками – и попадаешь в небольшой вестибюль, из которого наверх, на их этаж ведет нарядная деревянная лестница, покрытая тяжелым красным ковром. Здесь и без буржук в любую погоду было тепло и уютно – с чем-чем, а с углем Париж недостатка не испытывал. И с дворниками, которые регулярно подметали улицы, а зимой расчищали снег.

Квартира эта была похожа на московскую еще и тем, что до театра – там до Малого, а тут до «Opera Russe a Paris» на Елисейских Полях – рукой подать. Пешком можно добраться за полчаса, максимум минут за сорок, не тратясь понапрасну – там на извозчика, а здесь – на такси. Санин в большинстве случаев так и делал, совмещая дорогу на работу с быстрой, почти спортивной ходьбой. Улица была тихая, спальная, но рядом, в трех минутах ходьбы, была оживленная торговая Пасси с фешенебельными магазинами и уютными кафе, в которых днем кормили довольно вкусными обедами. Лида и Катя любили пройтись по магазинам, а то и просто прогуляться не спеша.

Хороша их квартира была еще и тем, что Санин мог ее содержать на контракты за постановку оперных спектаклей. Что и говорить: занявшись оперой, он в свое время как бы вытянул счастливый билет для своей эмигрантской жизни. Большинство русских, сбежавших в Париж от советской власти, бедствовали. Жили в номерах третьеразрядных гостиниц, снимали убогие мебелишки, мансарды, зарабатывали кто чем мог – мелкой торговлей и реставрацией, уборкой квартир, стрижкой собак, давали уроки рисования, музыки, танца. Княгиня Юсупова заделалась модельершей и удивляет парижских модниц.

А он, русский оперный режиссер, уже уезжая из России, знал, что не пропадет за границей, еще научит этих иностранцев, как сделать оперу притягательной не только для снобов. У него есть свой секрет, свой подход к воплощению музыки на сцене. И он сработал! Он, Санин, востребован и здесь, в Париже, и в других странах. И платят ему вполне приличные деньги. Сейчас его талант оценен в постановках русских опер, но чем черт не шутит, будет возможность, и он с удовольствием возьмется и за Вагнера, и за Верди – чувствует их, видит их на сцене. А соответствующие предложения поступят, – он не сомневался, – не здесь, в Париже, так хоть на другом полушарии. Он легок на подъем, его не страшит ни тряска в поезде, ни качка на корабле, ни воздушные ямы в самолете! Была бы только возможность поработать, показать себя. И какое счастье, что с ним Лидюша! Где бы он ни был без нее, он знает, что ее молитвами и заботой он жив и успешен. Да, Катя права – эта женщина послана ему мамой, которая и на небесах не покидает его.

Хорошо все же, что есть Париж, где его знают и ценят, эта уютная квартира, которую ему посоветовал снять Александр Бенуа. Здесь можно отдохнуть, сосредоточиться в кругу близких людей. Все же постоянный гостиничный водоворот уже не для него – шестьдесят два года, от них никуда не денешься.

Александр Акимович подошел к зеркалу – и не понравился себе. Нет, на мэтра не похож: нет блеска в глазах, тяжелое, хмурое, как у чернорабочего, лицо, сутуловатые плечи. Впрочем, увидело бы это зеркало его на репетиции, когда он весь поглощен одной идеей, готов заворочить ею – и завораживает не только певцов и музыкантов, но и целую толпу статистов, многие из которых и сцену-то видели лишь во сне. Что бы тогда сказало это чертово зеркало?

Он переоделся в халат, зашел в свой кабинет, который они с женой называли малой гостиной – Лидюши здесь не было, зашла к Кате. Включил недавно приобретенный приемник, попытался настроиться на московскую волну. Шум, треск, свист и тяжело пробивающийся в Париж голос русского диктора. После трудного дня и вечернего приема напрягаться уже не хотелось. Раскрыл на случайной странице книгу стихов, лежащую на столе – видимо, Лидюша принесла из русского магазина.

Но один есть в мире запах  
И одна есть в мире нега:  
Это русский зимний полдень,  
Это русский запах снега.

Лишь его не может вспомнить  
Сердце, помнящее много.  
И уже толпятся тени  
У последнего порога.

Да, это правда! Он взглянул на титульную страницу – Дон-Аминадо, Аминад Петрович Шполянский. Вот только, в отличие от поэта, Александр Акимович всегда и везде помнил запах русского зимнего полдня. Нахлынули детские воспоминания, и читать дальше не хотелось. Как же иногда хочется домой!

И тут Александр Акимович вернулся к мысли, к загадке, которая, как он понял, так и не покидала его весь этот вечер. А в самом деле, кто же был тот загадочный, так и не состоявшийся гость? Ответа на этот вопрос он придумать не мог. Разве что досужий репортер какой-нибудь русской эмигрантской газетки в преддверии очередной годовщины со дня смерти Антона Павловича Чехова решился на очередную отчаянную и явно безуспешную попытку получить интервью у Лидюши. Но, придя в дом Саниных с такой целью, глупо ведь называть ее девичью фамилию? А коли уж позвонил, зачем потом растворился? Может быть, потому, что не рассчитывал нехстати заявиться на прием?

Санин был уверен – о чем бы ни говорила жена в этот субботний вечер с его сестрой Катей, загадка эта ей тоже не дает покоя. Опять всю ночь спать не будет, а утром станет привычно улыбаться, скрывая усталость и плохое настроение. Взъерошив в задумчивости прилизанные и по-прежнему густые волосы, Санин отправился к жене с твердым намерением отвлечь ее от раздумий на большую тему, хотя и самому с трудом удалось запрятать загадку подальше. Он прошел через столовую, где Полин заканчивала уборку праздничного стола, заглянул к Кате, но жены там уже не было. Увидев свет в ванной, постучался. Лида стояла перед зеркалом. Много раз ей советовали подстричься: дескать, не девочка уже – слишком много времени тратила на уход за волосами и прическу, – ни в какую не соглашалась.

– Спасибо, милая, вечер сегодня удался благодаря тебе. Ты прекрасно пела сегодня, и многие позавидовали, что у меня такая красивая и талантливая жена!

– Была красивой. А ты не скромничай – вечер, как ему и положено, сложился благодаря тебе и твоей Нижинской, хотя она сегодня и не появилась. А что, кстати, с ее братом, давно ты ничего о нем не рассказывал?

– Если ты не устала, мы можем поговорить об этом. Пойдем в нашу малую гостиную. Похоже, ты принесла замечательную книжку. Вспомнил, Дон-Аминадо мне очень хвалил Шаляпин, по его мнению, это настоящий фонтан остроумия. Федор Иванович присутствовал даже на благотворительном вечере в пользу Дон-Аминадо. Фонтан остроумия, а стихи грустные пишет...

– А кто ж в эмиграции пишет веселые? Надеюсь, ты знаешь, что русским поэтам и писателям, в отличие, к счастью, от музыкантов и оперных режиссеров, – Лидюша сделала легкий поклон в сторону Санина, – здесь живет очень тяжело.

– Но я же не эмигрант. Я, можно сказать, нахожусь в международной творческой командировке с целью пропаганды русского искусства!

Лидия Стахивна улыбнулась:

– Ладно, неэмигрант, с удовольствием посижу с тобой. Уверена – долго не усну, если сейчас пойду в постель. А вот Катюша выразила желание сегодня пораньше лечь и выспаться.

\* \* \*

Любит ли его Лидюша? На этот вопрос Санин боялся отвечать даже себе. А вот в том, что понимает и ценит, – никогда не сомневался. Но странное дело, в их разговорах на любую тему, о любом человеке его как-то тянуло так или иначе вывести беседу на себя, сравнить другого с собой, рассказать жене, как бы он сам поступил в тех или иных обстоятельствах. И происходило это неосознанно. Из этих сравнений следовало, что у него вышло бы, во всяком случае, не хуже, а коли жена вдумается, как он подспудно надеялся, – то и лучше.

Вот сейчас о Брониславе Нижинской он рассказывал с таким упоением, будто говорил о себе. Да и в самом деле, несмотря на то что он почти на двадцать лет старше, несмотря на то что она была женщиной, ему казалось, что они очень схожи с Брониславой. И прежде всего стремлением к независимости, страстным увлечением русской темой, стилем поведения на репетициях. Уже в двадцать лет она была личностью: демонстративно ушла из Мариинки,

где уже пользовалась успехом. Ушла в никуда. Только потому, что из театра – по прихоти вдовствующей императрицы – выгнали ее гениального брата!

Он, Санин, тоже однажды в молодости совершил неординарный и рискованный поступок: разорвал все связи с тем, что было дорого, чтобы найти свой собственный путь.

– А ты бы видела ее на репетициях! – говорил он жене. – Характер – не дай Бог, перечить ей не смей. А почему? Потому что знает, чего хочет. Приходит в брюках и длинной мужской рубашке, на руках белые холщовые перчатки, чтобы не соприкоснуться с потными телами исполнителей. Никакой косметики, никакой прически – волосы с прямым пробором зачесаны за уши. Постоянно с папиросой во рту, глуховата и, как ни странно, говорит шепотом. То ли на громкость не может рассчитывать, то ли хочет, чтобы ей внимали. Если кто-то танцует спустя рукава, злится и становится совсем ведьмой. Ногтей, правда, как я, не грызет. Кстати, может, потому и ходит в перчатках?

– Сашуня, – сказала она с мягкой улыбкой, – ты ведь обещал рассказать о Вацлаве, а не о ней и о себе!

Лидюша не была бы его Лидюшей, если бы не отличила то, что он говорил и что на самом деле хотел этим сказать. Но на сей раз он почему-то почувствовал легкое раздражение и довольно успешно попытался его скрыть.

– Понимаешь, он уступил настойчивости влюбленной в него богатой венгерки Рамолы де Пульски и, что кажется невероятным для гомосексуалиста, в конце концов женился на ней!

– Что ж в этом плохого?

Он приготовился было сказать Лидюше, что брак Нижинского с богатой венгеркой Рамолой повлиял на творческий потенциал Вацлава. Но осекся – было известно, что Чехов, тоже по этой причине, долгое время избегал женитьбы. Аналогия в обстоятельствах, навеянная появлением русского незнакомца, как ему показалось, была бы слишком прозрачной и обидной. И ухватился за свое воспоминание:

– Кстати, судьба странным образом столкнула меня с Нижинским. Это было в Петербурге в период моей службы в Александринке. Помню, ставился балетный спектакль, не требующий расходов на декорации. Ставил его блестящий балетмейстер Михаил Фокин. Я обратил внимание, что в его постановке были моменты, схожие с теми, к которым я стремлюсь в своих масовых сценах: необычные костюмы, нарушена симметрия. Одних артистов Фокин поднимал на возвышение – сооружал холмы, деревья, других укладывал на траву. Он избегал горизонтальных группировок. Интересным был танец фавнов. Танцоры не делали балетных па, а кувыркались, что противоречило классической школе, но соответствовало «звериному» танцу. И это был не трюк, а выражение характера. Помню, что Фокин выделил одного мальчика с большими прыжками и особым усердием и спросил, как его фамилия. Тот ответил: «Нижинский». Меня так увлекли работы Фокина и этот Нижинский, что я попросил балетмейстера сочинить для трагедии А.К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного» танец скomoroxов. Фокин обрадовался и предложил показать эти пляски под древнерусский оркестр из гудков, гуслей, сопелок, домбр, балалаек. Но начальство Императорского театра заявило, что со мной будет работать официальный балетмейстер. Начальство не позволило мне выбирать. Я же уперся рогом и сказал, что хочу Фокина и Нижинского. Если нет, я ухожу из театра, написал в газету «Русь» – ты помнишь? И объяснил причину ухода из Императорского театра.

Лидия Стахиевна расхохоталась:

– Где твоя память, Саша? Я же правила тебе это письмо и просила убрать из него описания мелочей. И восклицательные знаки. Их было по десять штук на каждой странице.

– Да? Возможно. Да только я ушел по вине управляющего Петербургской конторой Императорских театров, а Нижинский вскоре по прихоти вдовствующей императрицы – его балетный костюм показался ей слишком вызывающим.

– Что с ним теперь?

- Болен. Потерял рассудок. Танцевал последний раз в каком-то благотворительном спектакле в 1919 году, когда и мы с тобой еще были в России.
- Быть может, его следует навестить? Подумай.

\* \* \*

Санин, оставшись один, злился на себя. Отчего это он все время старается так или иначе предстать перед женой в лучшем свете и всегда оказывается смешон? Отчего так происходит вот уже десятки лет? Может быть, оттого, что ему всегда хотелось доказать жене, как правильно она поступила, выйдя за него, низкорослого, не всегда опрятно одетого, с массой дурных привычек, которых Лидюша, дама светская, должна была стесняться? А может, этот комплекс неполноценности идет с его ранней юности, от его первых и постоянных неудач с девушками, о которых Лидюша, как ему представлялось, либо знала, либо догадывалась. А успеха у представительниц слабого пола он всегда жаждал, ему казалось, что не награды, не деньги, а любовь женщины, ее готовность на все – высочайшая оценка, которой удостоивается мужчина в своей жизни. Но по линии чувств его с юности преследовали неудачи. Первая тайная его влюбленность в Любовь Сергеевну, сестру Станиславского, осталась без ответа – она вышла замуж за его друга Георгия Струве. Потом он пал на колени и просил руки Марии Павловны Чеховой, но и здесь получил отказ. А потом был театр, множество очаровательных актрис...

И, наконец, будто бы сбылось: на него, как говорят, положила глаз красавица Алла Назимова, ученица Немировича-Данченко в студии Художественного театра, участвующая в спектаклях статисткой. О ней многие сплетничали. Будто бы, живя в мебелированных у Никитских ворот, отработывала плату за жилье уборкой, платила и натурой, куда богатый любовник и горький пьяница не снял для нее приличную квартиру. Но для двадцативосьмилетнего Санина прошлой жизни возлюбленной не существовало: Алла одарила его любовью, удостоила признанием. Что значила для него после этого похвала самого Станиславского за постановку массовых сцен в «Смерти Иоанна Грозного»! Несмотря на отчаянные, письменные и устные уговоры сестры Екатерины Акимовны о том, что эта чувственная и вульгарная девица недостойна брата, что Назимову он просто идеализирует, дело шло к свадьбе. Но и тут все рухнуло, причем самым неожиданным и предательским образом. Алла по совету Немировича решила попробовать свои силы в провинции и, не предупредив Санина, уехала в Бобруйск – играть в местном театре. Вне себя от отчаяния Санин послал ей вдогонку письмо, он упрекал Аллу в том, что она бросила его из-за бедности, умолял вернуться. Все тщетно. Назимова вернулась год спустя, не сыскав в Бобруйске ни успеха, ни денег, но побывав замужем. Оба сразу осознали, что навсегда потеряны друг для друга, чему была очень рада Екатерина. «Бог и мама там, на небе, избавили тебя от этого брака», – сказала сестра.

Он боготворил Лидию Стахивну, свою Лидюшу, умницу, образованную, талантливую, за то, что она раз и навсегда прервала роковую цепь его любовных неудач, которые надламывали его. За то, что все понимала и прощала его желание покрасоваться пред нею, словно подсолнух, который все время поворачивается к солнцу. Но сегодня Санин уловил другие, не совсем приятные для себя нотки. «Надо это индюшество прекращать», – подумал он, засыпая.

Такого рода обещания он давал себе уже не раз.

## Альбом

Они возвращались домой. Вечер был поздний, весеннее небо было усыпано мириадами звезд, светила луна. Запахи остывающего жаркого дня – жасмина, сирени...

– Какой запах! Словно в Дегтярном переулке, чувствуешь? Ты знаешь, меня расстраивает Жюльен. Жюльен Ножен. Понимаю, молод, много не видел. Но к чему эти гримасы, конвульсии, спекулятивные замашки современных фокусников в искусстве? Вспоминаю наши российские школы драматические. Тогда их расплодилось безмерно много, и велика была прыть желающих служить искусству. Просто эпидемия, эпидемическое движение какое-то...

– И я была застигнута этой эпидемией, как все потерявшие тогда нить жизни, отбившиеся от дела и мечтающие о сценических лаврах.

– Да, то была беда, имеющая социальный корень. Но ты-то при чем, милая, красавица моя? С твоим музыкальным образованием, с твоим голосом, с твоей красотой, наконец? Ты что, исключенный из гимназии за нерадивость юноша, сбивший с верхней губы несколько волосков, научившийся без закуски пить водку, изоцряющийся в умении рассказывать неприличные анекдоты, сыгравший водевиль в любительском спектакле, заимевший апломб и развязность? Ты, моя бесценная, при чем здесь? Тебе, напротив, всей этой наглости и не хватало. И кто сейчас мне бы мог помочь? Ты и только ты. Ну да еще Марья Николаевна...

Лидия Стахиевна остановилась, внимательно посмотрела на мужа:

– Сашуня, знаешь, Ермолова умерла. Ты хорошо себя чувствуешь?

– Прекрасно. А ты меня собралась опять в Вогезы отправить, от депрессьен нервюз? Неужто я выдержу без тебя, без искусства, без самой жизни, наконец? Я здоров, Лидуся, как бык! И вспомнил Марью Николаевну потому, что я не принимаю ее смерти. Сцену невозможно представить без нежно и безгранично мною любимой Ермоловой. Знаешь, с тех пор как мою мать схоронили в Скарятинском монастыре за Бутырской заставой, Марья Николаевна стала моей второй матерью. Я служу вечному ермоловскому искусству. Она вдохнула в меня чистый идеализм, учила добру, нравственности. Я ее вечный рыцарь. Лидуся, я самый молодой режиссер в мире, поверь мне. И знаешь почему? Вот прошли годы, из юноши я стал мужем, теперь мне за шестьдесят. И я все еще молод душою потому, что во мне живы, юны и трепетны ермоловские идеалы. Я человек верующий и все думаю, что она умирала там, в Москве, как раз в самую тяжелую пору моей болезни. Как это странно! Об этой странности я даже дочери Ермоловой написал. Ты печальна, дружочек... Из памяти не идет этот незнакомец? Ах, Полин, Полин...

Лидия Стахиевна молчала.

В доме было не холодно, но сыровато. Весна еще не успела как следует согреть парижские дома. После ужина Александр Акимович позвал жену посидеть в их любимой малой гостиной.

– Давай поговорим, – предложил он ей. – Всё мы на людях...

«Малой гостиной» они называли комнату с камином, двумя удобными диванами, круглыми столиками для чаепитий, большим секретером между окнами. На стенах висели только русские картины – Левитан, Коровин, Малявин.

– Пусть висит, – сказал тогда Александр Акимович, водружая подаренного Малявина на стену. – Меня однажды назвали Малявиным сценических постановок. За то, что я, как этот художник, грубую, ничем не прикрытую черноземную силу и вольные движения показываю яркими горящими красками.

Здесь бывали только они и очень редко – сестра Санина Екатерина Акимовна. Санин пришел в гостиную раньше, долго возился у секретера, отпирая ящики. Падали на пол папки, письма, газетные вырезки. Наконец появился на свет вишневый бархатный альбом с желтыми металлическими застежками.

Он проворчал что-то себе под нос, грузно устроился на диване, открыл альбом на первой странице, глянул – и быстро закрыл. Стал ждать. Лидия Стахиевна переделалась в мягкое серое платье с перламутровой брошью на плече.

– Что это у тебя? – спросила негромко.

– Альбом с фотографиями.

– Ты взял его в большой гостиной со стола?

– Нет, это я сам составлял.

– И прятал?

– Да. Прятал. Иногда смотрел в одиночку. Здесь все о тебе и немного о нас. То есть немного и обо мне...

С первой страницы на нее глянула фотография молодой барышни с высокой пышной прической, легко узнаваемой, ибо это была она сама.

– Что за странная была мода? Пуговицы у меня на платье – каждая величиной с тарелку...

– Намек на то, что ты всегда любила поесть, Хаосенька. Как и я... Нет, не так. Ты – элегантно и со вкусом, я же не соображаю, что ем и сколько. Ты помнишь, какой это год? – спросил он неожиданно серьезно.

– Конец восьмидесятых, наверное. А может, и немного позже...

– А ты помнишь, что именно в этом году состоялось в Москве в доме Гинзбурга на Тверской открытие Общества литературы и искусства? И мы все там были. Совсем молодые, молодые...

– Все?

– Все. И ты, и я. И... Чехов. Мы не знали друг друга, но я тебя помню – красавица.

– А я думала, что ты запомнил только интеллигенцию, которая, как говорил Станиславский, «в тот вечер была налицо».

– Не смейся. Тогда налицо были Коровин, Левитан, оформлявшие зал. И великий Ленский, читавший рассказ Чехова «Предложение». Значит, и Чехов. А потом состоялся столетний юбилей Щепкина и на нем была сама Ермолова и вся труппа Малого театра. А какие балы, маскарады в залах Благородного собрания! Станиславский – в костюме Дон Жуана, Лилина – Снегурочка. Будущая великая Вера Комиссаржевская – в хоре любителей цыганского пения. Были спектакли, выставки, художники показывали себя...

– Ты так хорошо все помнишь?

– Хаосенька, я же был десять лет бессменным секретарем этого Общества. Станиславскому помогал. На сценических подмостках вместе появлялись. Я был его правой рукой. Иногда и двумя руками: и играл, и режиссировал.

Лидия Стахиевна отложила альбом, не открыв следующей страницы. Встала и несколько раз прошла по гостиной, опустив голову.

– Ты фантазер, идеалист. Душу, дружбу и верность даришь самозабвенно. А Станиславский тебя, правую руку, даже на свадьбу свою не пригласил... Не его, видите ли, поля ягода! Да и расстался потом с тобой так легко, будто пушинку смахнул с рукава.

– Надеюсь, ты не хочешь обидеть меня, наступая на большую мозоль?

– Совсем нет, мой милый. Просто хочу сказать, что ты постоянно завышал свои ожидания, а потом мучился, когда они не оправдывались. А вот Чехов как будто с малых лет знал: люди и жизнь разочаровывают. Чехов умел защищаться. Смотри, как он едет на собрание этого Общества: даже облакается во фракную пару, ждет, что будет бал. А говорит об этом небрежно. Какие цели и средства у этого Общества – не знает. Что не избрали его членом, а пригласили гостем – его это будто не трогает. Вносить двадцать пять рублей членских за право скучать – ему не хочется. Он заранее готов Суворину писать не только об интересном, но и о смешном. Но пишет не о смешном и не смешно, а как будто зло. У некоего немца, мол, была система, когда он кормил из одной тарелки кошку, мышь, кобчика и воробья. А у этого Общества, на

которое сам Чехов-то приехал, системы, мол, никакой. «Скучища смертная, все слоняются по комнатам, едят плохой ужин, были обсчитаны лакеями. Хорошо, должно быть, Общество, если лучшая часть его так бедна вкусом, красивыми женщинами и инициативой...» Он заметил то, что только женщина может замечать: в передней – японское чучело, в углу зонт в вазе, на перилах лестницы для украшения – ковер. Он обругал художников «священнодействующими обезьянами». А между прочим, Левитан, Коровин и Сологуб прекрасно все оформили!

Санин неожиданно повеселел, но все же не без подозрения посмотрел на жену:

– Ты все-таки сердишься. Раздражена немного. Наблюдательность, соль и перец в ней – непереносимое условие характера Чехова. Он во всем и всегда такой. Да и поверь: красивых женщин он узрел. Ты никогда не могла помешать тому, чтобы на тебя не оборачивались и не засматривались. Просто Антон Павлович не сумел увидеть и прозреть в состоявшемся зерно будущего Художественного театра, возможно, был не в духе. К тому же случился конфуз с чтением его рассказа. Кто-то робко сказал, что рассказ слабый, а тут как раз он появился. Ведущий, не сообразив, ляпнул: «А вот и автор». А возможно, был обижен тем, что его членом Общества не сделали, не избрали, а только пригласили. Вот и написал об этом Суворину то ли с юмором, то ли всерьез. Просил Суворина записать его в «Литературное общество» и обещал его посещать. Говорил, между прочим, и о «Драматическом обществе», и говорил серьезно. Считал, что оно должно быть коммерческим и помогать его членам побольше зарабатывать. И председательствовать в нем должны не иконы, а работники. Так что мог он все же обидеться, что не был избран в члены Общества литературы и искусства. Действительно, мне было девятнадцать лет, и я был избран, а он, известный, талантливый, «Степь» уже написал, старше меня, а его не избрали. Даже сейчас, когда его уже давно нет и мы далеко от российских мест, мне все еще плохо от этих мыслей.

Лидия Стахиевна посмотрела на мужа долгим нежным взглядом, поцеловала.

– Милый и добрый, до чего ж ты смешной в своих благомысленных и бессмысленных мечтаниях!...

– Мне хотелось отвлечь тебя от мыслей о незнакомце из той жизни. И вспомнить о ней вдвоем. Поискать бодрости, сил, одушевления в наших с тобой воспоминаниях, – сказал Санин. – А ты спать идешь...

– В следующий раз будет продолжение, согласен? Спрячь пока альбом.

Санин встал в позу, поднял бровь, глянул трагически:

– «Перенесу удар я этот, знаю, чего снести не может человек. Все побеждает время»...

Лидия Стахиевна засмеялась:

– Действительно, все побеждает время, когда в сон клонит...

\* \* \*

Она открыла окно в своей комнате, зажгла лампу под абажуром золотистого цвета, подошла к зеркалу и замерла. Что хотел сказать или рассказать этот незнакомец из России? Конечно, он был из России. Он назвал имя Лика, а оно незнакомо чужим городам. Когда-то лишь в Париже, лет сорок назад, оно звучало и, как казалось ей, было окутано любовью и счастьем. Обманным или случайным, она и сейчас не могла этого сказать. А в главном в той жизни никто, пожалуй, никогда не разберется. Она легла, заложив руки за голову, – и увидела себя в тесноватой прихожей. Стены окрашены масляной краской, вместо столика – широкий подоконник для сумок и зонтов, слева – деревянная вешалка со множеством пальто. Она смотрела на нарядную лестницу с яркой дорожкой, прикрепленной к ступенькам начищенными медными прутьями, с перилами, обтянутыми красным Манчестером с бахромой. Лестница была не хуже той, что в Благородном собрании, и вела наверх, в гостиную. Она долго бы рассматривала эту лестницу, если бы по ней не начали бегать вверх и вниз молодые люди. Почему-то в

доме их оказалось очень много и они все время пытались заглянуть ей в лицо. Потом открылась дверь из комнаты слева, тут же внизу. Очень высокий и красивый брат подружки, которая и привела ее в тот дом на Кудринской и оставила на минуту в прихожей, пригласил ее снять пальто. Она спряталась за вешалку, засунула лицо в чей-то меховой воротник...

Как странно, ее звали Царевной-Лебедь, – золотой, перламутровой, божественной, златокудрой, очаровательной, изумительной, хвалили соболиные брови, пышные, пепельные роскошные вьющиеся волосы, стать, а она видела себя в зеркале другой. Слишком крупные черты лица, рядом с подругой Машей Чеховой, миниатюрной, миловидной, и вовсе казалась себе громоздкой. Да еще бабушка, Софья Михайловна, двоюродная сестра мамы, заинтересованно опекавшая ее, говорила: «Лидуша, не увлекайся сладким: худеть – одно мучение». Словно ей в девятнадцать лет так уж необходимо было худеть. Все говорили как раз наоборот и удивлялись, что такая молоденькая, а уже преподает в гимназии Ржевской русский язык. Застенчивость всегда была ее бедой. Она уставала от борьбы с собой, не могла понять природу этой застенчивости. Домашние обстоятельства? Одиночества не чувствовала – родственников полна Москва, да и пол-Петербурга. Баловали, любили. Уход из семьи отца, красавца, любителя женщин Стахия Давыдовича, человека всегда вольного в своих поступках, вряд ли мог сказаться на ее характере. Правда, матери была свойственна нервность, экзальтация, без этого не бывает творческих художественных натур, а мама, Лидия Александровна, урожденная Юргенева, была талантливейшей пианисткой. Но всегда, сколько помнится, она искала дешевое жилье и работу, была недовольна дочерью. Между ними часто вспыхивали ссоры, в них вмешивалась Софья Михайловна Иогансон, которая безумно любила обеих своих Лид – двоюродную сестру и ее, свою внучатую племянницу Лидушу, для которой всегда была «бабушкой Соней», бескорыстной, хлопотливой, заботливой. Бабушка была строгой и не всегда скрывала недовольство внучкой. И не только с глазу на глаз, но и поверяла его дневнику. Лиде долго казалось, что эти вслух проговоренные строгости породили в ней комплекс неполноценности, неуверенность в себе, неровное поведение, боязнь совершить что-то предосудительное, болезненную застенчивость. О Лидии говорили: «умная, насмешливая, способная на вызов, оригинальная», а бабушка все видела иначе. И часто твердила: «Сердце-то у тебя доброе, но при твоей распущенности – и откуда ты ее только набралась – твое доброе сердце может принести тебе много горя. Все тебе не так, гадко, старо, ничем ты не дорожишь, ничего фамильного не бережешь! Да и с ленью тебе бороться надо, моя дорогая – все бы тебе читать романы, а не работать. Где-то тебя носит допоздна, ты не любишь свой дом, домашнюю жизнь».

Лида болезненно реагировала на эти упреки и, когда бабушка начинала свои проповеди, нарочно уходила из дома, чтобы их не слышать. Приходила к Чеховым и засиживалась у них допоздна. Иногда Чеховы специально присылали за нею, чтобы пойти вместе с Машей и с кем-то из ее братьев в театр или на концерт. После театра – ужин. Мать встречала ее со слезами на глазах, а бабушка все пыталась выпытать: что это за друзья у нее такие, что держат молодую девушку до двух-трех часов ночи?

Она как-то быстро раскусила увлечение внучки Антоном Павловичем, но никак не могла понять взятого им с ней тона. Как-то Лида принесла домой две книжки, подаренные молодым писателем, рассказы которого бабушке нравились. Бабушка взяла книгу, с уважением раскрыла ее, прочитала дарственную надпись и огорчилась за Лидушу:

– Умный человек, много интересного, хорошего пишет. Но как ты себя с ним ведешь, что он ерничает, будто издевается над тобой? Что это значит, например, «Лидии Стахиевне Тер-Мизиновой от ошеломленного автора»? Почему он дразнит тебя армянской породой? Так ты ему скажи, между прочим, что среди твоих давних знакомых сам Пушкин был! А это что за надпись такая, что он себе позволяет, в конце концов? «Лидии Стахиевне Тер-Мизиновой, живущей в доме Джанулова, от автора Тер-Чехианца на память об именинном пироге, который он не ел!» Это очень несерьезно и обидно! Как ты этого сама не понимаешь?

Бабушка ворчала, но внимательно и долго рассматривала подаренные Чеховым книги, потом смягчалась. Быть может, чувствовала, что душа ее любимой Лидуши ищет пристанища доброжелательного, понимающего. Ищет самостоятельности.

\* \* \*

В доме на Садово-Кудринской со смешным названием «Комод» Чеховы устроились после того, как с 1876 по 1879 год сменили двенадцать квартир. «Лика, ах Ликуся, хоть Корнеев – собака, домовладелец, заставил занимать деньги, не хватало их (дал Лейкин), но я счастлив, что ваша подруга Ма-па – моя сестрица и старики здесь обосновались. Жили ведь на Якиманке, в помещении над буфетчиком, который сдавал зал под поминки или свадьбы. В обед – поминки, ночью – свадьбы. Жениху такая музыка была приятна, мне же, немощному, мешала спать». Наедине Антон Павлович говорил с ней серьезно, как-то по-особенному глядя ей в глаза. Он не считал ее растяпой, растерехой, лентяйкой. Он и все в доме-комоде восхищались ею. Чехову было 26 лет, и дом тогда был полон молодежи. Даша Мусина-Пушкина, Варя Эберле, Дуня Эфрос, музыканты, литераторы. Все пели, играли, читали стихи. Михаил Чехов, студент-второкурсник, отжаривал попури из разных опереток с таким ожесточением, на которое был способен только юноша сангвинического темперамента. А она пела. Все говорили, что у Лики сочное красивое сопрано и что ей надо идти на сцену. А Чехов бросал работу внизу в своем простеньком кабинете с двумя окнами во двор, с кафельной печью, оливковыми обоями, столом и книжными полками, поднимался в гостиную, где главным было пианино и лиловые ламбрекены на окнах с тюлем и фикусы. И начинал дурачиться, со всеми шутить. Он говорил, что положительно не может жить без гостей; когда он один, ему становится страшно, точно он среди великого океана солистом плывет на утлой ладье. Это было время взлета его славы. В марте его заметил Григорович, в феврале Алексей Суворин, издатель право-левой, невозможно популярной газеты «Новое время», предложил регулярный «субботник». Чехов не без удовольствия шутил, будто в Петербурге он самый модный писатель, – это видно из газет и журналов, где всюду треплют его имя и превозносят его паче заслуг. И действительно, рассказы его раскупались, читались публично, а знакомства сыпались как из рога изобилия. Свет этой молодой славы падал на весь дом и на всех, кому посчастливилось в нем бывать. А Антон шутил: «Мне, Ликуся, теперь будут платить не по семь копеек, а по двенадцать, и я дам Мама десять целковых, и она поскачет в театр за билетами». «А у меня зато есть имение в Тверской губернии», – говорила она ему в ответ. Ей было так хорошо в этой «Малой Чехии», как называл дом поэт Плещеев. Неожиданно легко вспомнились плещеевские стихи, которые не вспоминались почти сорок лет:

«Отрадно будет мне мечтою перенестись сюда порою, перенестись к семье радушной, где теплый дружеский привет нежданно встретил я, где нет и светской чопорности скучной, и карт, и пошлой болтовни, с пустою жизнью неразлучной, но где в трудах проходят дни».

Ах, как ей хотелось иногда рассказать все бабушке, чтобы она поняла, чем держит ее этот дом. Но, когда она возвращалась к себе, всякая охота вдруг отчего-то пропадала.

Лика иногда спускалась в кабинет Антона Павловича. Сколько раз стояла у его письменного стола, простого, крашенного масляной краской, смотрела на бронзовую лошадку, которая украшала чернильный прибор, на лампу с жестяным козырьком, передвигала по столу подсвечники – Чехов любил писать при свечах – и слышала от него, что он привинчивает себя к столу, липнет к своему креслу, чтобы писать. Что в привычку у него вошло работать и иметь вид рабочего человека в промежутке от девяти утра до обеда и после вечернего чая до самого сна. И что он – настоящий чиновник, а она совсем не чиновница. И наверное, бабушка права, что она ленива. Но она была весело-ленива от его смеющегося взгляда. Кто-то заглядывал в кабинет. «Мешаете творчеству, Лика, – говорили ей. – Вот Шиллер, работая, любил класть в

стол гнилые яблоки, а вашему Чехову непременно надо, чтобы пели и шумели, а за спиной Мишель мазал изразцы печки в кудринском стиле и чтобы не менее воняли гнилые яблоки. Все спасаете вы своим благоуханием, Лика».

Мишель, Михаил Павлович, становился в позу и читал:

Лишь только к нам зазвонит Лика,  
Мы все от мала до велика,  
Ее заслышав робкий звон,  
Стремимся к ней со всех сторон.

Один из нас на низ сбегает,  
Ее насильно раздевает.  
Другой о дружбе говорит,  
У третьего – лицо горит.

Она наверх к сестре заходит,  
О дирижере речь заводит.  
У ней всегда он на уме.  
А кто-то шепчет ей: «Жамэ».

...На светлом небе висела капля светлой звезды. Лидия Стахиевна закашлялась, выше взбила подушку, закрыла глаза. Неприятно сжалось сердце – ну вот, недоставало! Но глаза не открыла, а вспомнила вдруг запись бабушки Софьи Михайловны в ее ежедневнике: «Худо мне, быть разрыву сердца, плохо, едва дышу. Господь милостивый, прими меня грешную. Простите все меня, дорогие мои, Серафима, Лида, а Лидюшу так и не увижу. Пятьдесят рублей, которые у меня лежат в комод, в корзинке, отдайте Лидюше на дорогу. Когда умру, не желаю затруднений. Нет! Еще час не настал. Оказывается, осталась жива. Начали картофель сажать».

Лидия Стахиевна улыбнулась, засыпая. Ей показалось, что у светлеющего окна стоят две фигуры – Чехов и она. Но за окном не Париж, а запорошенный снегом двор, палисадник, кустики, бульжная мостовая на Садово-Кудринской. Выпал первый снег, и на душе такое чувство, которое описано Пушкиным в «Евгении Онегине».

\* \* \*

«Ничего не вышло, не отвел я ее от больных воспоминаний. И затея с альбомом не получилась. Я думал, смогу удивить, развлечь, рассмешить, тронуть сердце. А она – вся в противоречии и даже как будто в агрессии». Санин бегал по своему кабинету, глотал воздух из открытого окна, застывал на месте, начинал остервенело грызть ногти, что случалось с ним всегда, когда на душе был непокой. Потом с испугом – весь «домашний муравейник» десятилетиями отучает его от дурной привычки – прятал руку в карман куртки, которую сшила для него жена.

«Конечно, понимаю, я не был красавцем, как он. У него только рост под метр девяносто, а румянец, а глаза с этой искрой смеха, лукавства!.. Он умел быть пленительным. Недаром В., женщина исключительной красоты, встречавшаяся с ним, была безоговорочна: «он был очень красив». Ах, это «очень»... И ладно бы только женщины, но и мужчины – Короленко, беллетрист Лазарь Грузинский живописуют... А я был всегда... Это он был, а я – есть, но смешон и нелеп, как и тогда, в восьмидесятые годы. «Полный, весельчак» – вот так вспоминает меня Станиславский, чью семью я веселил своими выходками. Одно это уже гарантировало удачную семейную вечеринку в доме Алексева-Станиславского и сулило мне популярность среди публики и актеров. Говорили, что я словно в трансе, словно все вижу сквозь увеличительное

стекло. А я видел сквозь это увеличительное стекло лишь театр. Но не свою классическую гимназию у Покровских ворот, в которой, кстати, учился и Станиславский. Как позже не видел и историко-филологический факультет Московского университета. Я всегда грешил этим русским свойством – безумно обожествлять искусство. В гимназии я ничего лучшего не придумал для сочинения, как тему – «Воспитательное значение театра у древних и новых народов». В университете, влюбленный в Шиллера, решил написать критический этюд о его трагедии «Коварство и любовь». В последнем классе гимназии переступил порог дома Алексева-Станиславского как участник любительского кружка актеров. В 19 лет вместе со Станиславским дебютировал на сцене театра «Парадиз» в пьесе «Баловень». Я был замечен и был счастлив. Правда, ни отец, очень любивший театр, ни мать, увлекавшаяся пением и имевшая чудное сопрано, не приехали посмотреть на мой дебют. Оба считали, что мой путь – университет. Я же смотрел Сару Бернар и Элеонору Дузе в «Даме с камелиями» и был покорен Дузе. Правда, на сцену не прыгал и на колени не бросался, что за мною водилось в те времена, когда с такими же театральными завсегдатаями и безумцами кричал неистовое «браво» с галерки Большого театра. Где они, каким ангелам поют божественными голосами? И Мазини, и Катонди, и Таманьо, и Джузеппе Кошма, Фелия Литвин... Я слушал пение восторженно, душа моя, охваченная чарами, рвалась неведомо куда. Таманьо дарил мне свои автографы, я, счастливый, несся домой по весенней Москве и с восторгом демонстрировал их отцу с матерью, сестре Екатерине и брату Дмитрию...»

Санин подошел к окну – там сиял огнями ночной Париж. Весна, а уж и жасмин, и сирень, и жарко. Это славно. Но когда-то, в девяносто первом или в девяносто четвертом, кажется, в апреле, но точно в Москве, для него весна звучала иначе. Первое робкое ее дуновение, оживающая природа, первые лучи теплого солнца после зимней стужи и мрака, вешние воды, тающие сосульки по краям крыш... Идешь по тротуару, жмуришься от удовольствия, как кот. Давно не видел, не встречал солнца, а капли с крыш нежно и ласково бьют по твоему лицу, голове, более же нахальные стекают прямо за ворот, и ты живо чувствуешь их щекочущее присутствие на своей шее, – так он вспоминал русскую весну.

Александр Акимович улыбнулся. Он уже немолод, но еще так остро чувствует, помнит все то, что преломилось, запечатлелось в его сердце. Хотя ручаться за верность не может: перепутанность, непонятность, полузабытость, искаженность – извинительная особенность разговора с ушедшим в Лету. Но все же вспомнил, сказал – и душу облегчил.

\* \* \*

Дивной отравой была опера. Но болел и драматическим театром. Вдыхая и обоняя живой и бодрящий запах снежной Москвы, поглядывая на «бразды пушистые» на ее улицах, на дивное зимнее серебро, на ледяные узоры, дрожал от свежего холода и мороза, стоя у закрытой двери кассы Малого театра с такими же театроманами, в надежде на билетик где-нибудь на галерке. Главное – попасть на Ермолову. Лидюша сегодня вечером сказала, что Марья Николаевна умерла. «Это значит умер я, – громко фыркнул Санин. – А как же, как же вот это?» Он бросился к сейфу в книжном шкафу, достал из него синюю тетрадь, оттуда выпал листок. Прочел с пафосом:

«Дорогой Александр Акимович, я очень тронута Вашим подарком и горжусь им. Только верному рыцарю чистого искусства могла прийти в голову эта идея. Мне, современной жрице, не под силу этот меч великих героев, но идею с восторгом принимаю. Да, защищала как умела чистое искусство и до конца дней останусь ему верна. От всего сердца благодарю вас. Крепко жму вашу руку и желаю всего лучшего.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.